
АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ



«МИСТИФИКАСЬОН?» И ДРУГИЕ ВИНЬЕТКИ

КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
(1944 — 1953)

Ирине Всеволодовне Палей

Сочинения на такую тему задавались в начале учебного года. Как видно из дат, речь пойдет о последнем сталинском десятилетии, и исторические штрихи неизбежны. Кое о чем я уже вспоминал. Но здесь мне больше всего хочется воскресить ощущение тогдашней жизни, чудом задержавшееся в подвалах памяти. Расспрашивать, увы, некого: «взрослых» нет давно, да и сверстники в том или ином смысле далече. Пишу это в Санта-Монике летом 2020-го, в обстановке карантинной самоизоляции и политкорректной нетерпимости, — и тем острее воспоминания о былых несвободах и попытках к бегству.

Из эвакуации мы вернулись в августе 1943-го, и остаток лета я провел в Москве, в нашем дворе на Метростроевской (ныне опять Остоженке), 41. Ярким пятном было знакомство с Женькой Зенкевичем (уже много лет как покойным: 1939 — 2008)¹.

Дворовая жизнь продолжалась и в следующем году — с перерывом на загородный детский сад при, как я понимаю, Союзе композиторов, но очень скромный, — еще шла война. Музфонд снял (купил?) несколько дач где-то под Москвой, и вместе они образовали небольшой детсадовский комплекс. О жизни там помню только, что она проходила под строгим надзором воспитательниц в тесном огороженном дворике. Но иногда, в специальный «родительский день», тебя могли навестить домашние и привезти чего-нибудь вкусненького. На этот случай позволялось выйти за ограду и, расположившись вместе с приехавшим родственником где-нибудь неподалеку (с застарелой обидой помнится один такой привал в кустах между нашим забором и соседней канавой), вернуться на час-другой в лоно семьи и отвести душу.

Осенью 44-го я пошел в школу, а где провел следующее лето, первое после Победы, не помню. Боюсь, что, несмотря на уже почти восьмилетний возраст, опять в том же инфантилизирующем садике.

Жолковский Александр Константинович родился в 1937 году в Москве. Окончил филфак МГУ, кандидат филологических наук. Филолог, прозаик. Автор трех десятков книг и четырех сотен статей по литературоведению и нескольких сборников мемуарных виньеток. Среди последних книг — «Напрасные совершенства и другие виньетки» (М., 2015), «Выбранные места, или Сюжеты разных лет» (М., 2016), «Русская инфинитивная поэзия XVIII — XX веков» (М., 2020), «Все свои. 60 виньеток и 2 рассказа» (М., 2020). Постоянный автор «Нового мира». Живет в Калифорнии и Москве. Вебсайт <<https://dornsife.usc.edu/alexander-zholkovsky>>.

¹ См. виньетку «Армей, плейнбол, Жало».



Мы с Женькой (он слева) в скверике перед домом.

Зато летом 46-го мы поехали в Сортавалу на дальнем берегу Ладожского озера, вторично отвоеванную у финнов. Дом творчества композиторов (ДТК) расположился в охотничьей вилле маршала Маннергейма. Она стояла над заливом, на ее плоской крыше можно было загорать, имелись прогулочные шлюпки, лес изобилдовал черникой. Идиллию ненадолго прервала гадюка, ужалившая папу в ногу; его вылечили, но шрам оставался еще долго.

В общем, там было здорово, и в 62-м мы с папой, но уже без мамы, умершей в 54-м, съездили туда опять. В этот раз среди отдыхающих были две юные красотишки из музыкальных семей (Маша Шнеерсон и Наташа Зив), которые обучали меня чарльстону. В третий раз я съездил в Сортавалу с Таней (1974) — это был папин свадебный подарок.

Лето 47-го мы провели в ДТК под Ивановом. Это там и тогда (в 47-м, а не 46-м) я играл в маджонг и был по-детски влюблен в молодую, но вскоре умершую скрипачку Татьяну Берлин².

В феврале 48-го состоялось ждановское постановление ЦК о музыке. Как апологет «формализма», в частности Шостаковича, папа попал под удар, но уволен из Консерватории не был, и летом мы по путевке Музфонда поехали в еще один европейский ДТК, на этот раз во вторично завоеванной Латвии — в Яундубултах на Рижском взморье. Впечатления от этого райского сада я отдал героине одного своего рассказа³, а в недавней виньетке детализировал от собственного имени⁴.

В 49-м ЦК принялся за «космополитов», и тут уж папу из Консерватории поперли. К счастью, его приютил Институт военных дирижеров, начальником которого был генерал И. В. Петров, когда-то учившийся у папы. Он воспользовался тем, что его Институт подчинялся Министерству не высшего образования, а обороны, и взял на работу несколько знатных — но безработных, ибо безродных — космополитов⁵. Тяжелые годы папа пережил там, а в 54-м, с началом оттепели, вернулся в Консерваторию.

С его изгнанием из Консерватории благополучие семьи пошатнулось; под вопросом оказалось и благорасположение Музфонда. В общем, отдельной дачи в ДТК папе-формалисту, да еще и космополиту, в 49-м не предоставили, но надо мной смилостивились (там во все времена работала добрейшая Тамара Исааковна, хорошо ее помню) и по бедности выдали путевку в музфондовский пионерлагерь — в то же Иваново, куда мы двумя годами раньше ездили всей семьей. (О мамином беспокойстве за мою голодную жизнь в людях и о неразделенной любви к блондинке Наде я уже писал⁶.)

² См. «При музыке».

³ «Родословная».

⁴ «Мы все глядим в аристократы».

⁵ См. «Из воспоминаний» (отмечая 100-летие Л. А. Мазеля). — «Музыкальная академия», 2007, № 3, стр. 91 — 100.

⁶ См. «Котлеты моей мамы».

Родители остались в Москве, а я две смены — июнь и июль — наслаждался свободной ребяческой жизнью (за исключением плавания, запрещенного мне мамой под честное слово, честно соблюдавшееся) и больше всего играл в футбол настоящим футбольным мячом, на настоящем футбольном поле, с настоящими воротами, правда, без сетки. Команде первого отряда — шестнадцатилетним молодцам, мы, третий отряд, конечно, проигрывали, но не с разгромным счетом, а достойно, как почти равные. Я играл в защите и неоднократно останавливал могучего Лельку Петрова, сына не композитора, а местной нянечки, в настоящих гетрах и настоящих бусах рвавшегося к нашим воротам по своему левому — моему правому — краю. Я мечтал о роли вратаря, но был даже для своих двенадцати лет маловат ростом (внезапно вытянулся я двумя годами позже, к восьмому классу).

Начиная с 50-го родители решили снимать дачу. Первой стала дача некоего Гарашенко (невысокого бритоголового украинца с усиками) на 42-м километре по Казанке, по левую (если считать от Москвы) сторону железной дороги, минутах в 20-25 ходьбы от станции, на Фрезерной ул. Дачка была небольшая, но светлая, уютная, участок ломился от цветов, в частности, вдоль ограды, флоксов, но жизнь была омрачена схватившей меня дизентерией. В больницу мама меня не отдала, болезнь я перенес на месте, так что она не была правильно залечена, и я в дальнейшем часто страдал по этой части.

Но это было как-то не главное. Наш участок располагался на западной, нижней стороне улицы, а на противоположной, восточной, высилась огромная дача, где жила девочка чуть постарше меня, Наташа Рахманова, в которую я считал себя влюбленным. Она была высокая, крупная, бледно-рыжая, с большим скульптурным лицом и внушительным подбородком, опущенным редкими волосками. В чем состояла эта дежурная влюбленность, сказать затрудняюсь. Нас было несколько подростков моего возраста, но помню я только нашего заводилу, Витю Благовещенского. Он приехал откуда-то с Дальнего Востока, был на пару с лишним лет старше, но небольшого роста, с круглым нежным лицом и красивыми глазами, ходил в шароварах и строил из себя опытного сердцееда. Он многозначительно пританцовывал, поводя тазом и напевая популярный в то лето шлягер: *Прощай вино в начале мая, а в октябре прощай любовь*, исполнявшийся по радио Владимиром Канделаки и, как сообщает Википедия, написанный Н. Стрельниковым на слова Пьера Беранже (!) в переводе В. Курочкина (!) для оперетты «Сердце поэта» по либретто 1934 г. А. Ивановского и М. Кузмина (!!!). Так что не влюбиться было никак нельзя, а выбор предсказуемо пал на принцессу с соседней дачи.

Открытием того лета стало дозволенное нам, детям, бесконечное хождение с дачи на дачу через соединявшие их внутренние калитки. Особенно запомнился участок с целым выводком сестер и их подружек, среди которых были мои сверстницы, и с поразившими меня большими качелями, — на таких я качался впервые. Девочки были удивительно веселые, уверенные в себе, свободные, все на велосипедах. Ни лиц, ни имен не помню, знакомство было мимолетное, но оно осталось ранним наглядным образцом свободы, о возможности которой я лишь смутно догадывался. Потом эти такты освобождающего заражения чужим примером повторялись не раз, во многом определяя повороты моей жизни, но то был первый. Не знаю, почувствовала ли это мама, но следующим летом она купила мне велосипед, и моя безлошадность, а с ней и прикованность к месту, отчасти кончилась.

В 51-м дачу сняли на одну остановку ближе к Москве — в Кратове, тоже слева от полотна и тоже далеко от станции. Дача принадлежала высокому, худому и не улыбчивому еврею Митлину, который оказался одноклассником Андрея Громько и охотно вспоминал, что в школе будущий министр иностранных дел СССР считался одним из самых безнадежных тупиц⁷. Участок

⁷ См. «В далекую».

у Митлина был огромный, заросший елями, дача тоже большая и темная, так что общий фон получался мрачноватый.

Но это был только фон, а на самом деле все было прекрасно. Мама купила мне велосипед — тяжелый синий дорожный ЗИС, и я не мог на него нарадоваться. Но иногда прокалывались шины, надо было извлекать камеру и заклеивать ее резиновыми заплатками, чему я быстро научился (и потом в Америке удивлялся, что никто не владеет этим искусством, а проколотую камеру в мастерской просто выбрасывают и заменяют новой).

Но однажды, видимо, сломалось что-то серьезное, переднее колесо стало тереться о вилку; приятели-велосипедисты поглядели, пощупали, повздыхали, кто-то произнес загадочное слово «восьмерка», и все хором сказали, что делать нечего — надо идти к Сергею, великому знатоку велосипедного дела. И мы пошли.

Пройдя насквозь через четыре или пять участков, мы, наконец, оказались на том, где жил Сергей. Великий человек сидел на земле, окруженный поклонниками. Это был парень на пару лет старше меня. Перед ним лежало несколько велосипедов в разных стадиях демонтажа, напоминая разъятые скрипки Брака и Пикассо. Сергей не столько чинил их, сколько давал непрерывный мастер-класс разборки-починки, причем разборке часто подвергались и те части конструкции, на которые жалоб не было. Но, в конце концов, очередной велосипед доводился до кондиции, благодарный хозяин уезжал на нем, а его место занимал следующий экземпляр. Про Сергея говорилось, что он может с закрытыми глазами разобрать и собрать заднюю втулку! Денег он не брал, сам не катался, все время проводил среди чужих велосипедов и их зачарованных владельцев.

Когда дело дошло до меня, он не стал спрашивать, что случилось, полностью разобрал мой почти новый велосипед и погрузился во внутренности задней втулки. Я не знал, что и думать, но возражать не решался. «Да, втулки они стали ставить интересные, — раздался голос великого человека. — А машина у тебя ничего. Я подтяну спицы — восьмерить не будет». Он быстро собрал мой велосипед и перешел к следующему.

На велосипеде мне стали доступны дальние окрестности, в частности волейбольная площадка, уже ближе к Отдыху, на перекресте Интернациональной и Энгельса, где я любовался игроками постарше, особенно красавцем-брюнетом Аликом Бундманом, в дальнейшем оказавшимся одним из приятелей моего кузена Андрея. Ясно помню его смуглое лицо, небольшой лоб, короткие черные волосы и мощные мышцы на ногах, позволявшие ему взлетать в гасе высоко над сеткой.

Купаться ездил на котлован по другую сторону дороги, но я по-прежнему не плавал, компенсируя это велосипедной ездой.

На одной из улиц (названия, увы, не помню) я обнаружил дачу с аккуратной табличкой, на которой, помимо номера 52, значилась фамилия владельца, что было необычно. Но еще необычнее была сама фамилия — Бонапарт, с инициалами Л. Н. На ум немедленно приходил Луи-Наполеон Бонапарт, провозгласивший себя императором в 1852-м году! Улица была тенистая, участок, судя по длине забора, огромный, забор сплошной и высокий, из отборных досок, — внутрь не заглянешь. Ничего о владельце дачи я не знал, но ощущение тайной причастности к какому-никакому бонапартизму тешило.

История получила продолжение почти полвека спустя. Папа был жив, но постепенно слабел, и когда, приезжая летом в Москву, я выводил его на прогулку, маршрут приходилось сокращать все больше и больше. В самые последние годы (1997 — 2000), мы открыли для себя дворик на другой стороне Воротниковского — наискосок от нашей башни. Это была территория дома ветеранов сцены или чего-то в этом роде, огороженная, но не запертая, — группа в основном одно- и двухэтажных домов, с большими деревьями по периметру и асфальтированными дорожками (Воротниковский пер., 7).

Мы делали круг-другой по этому внутреннему скверику, своего рода дачному уголку в центре Москвы, с частыми передышками на заботливо расставленных скамейках, одна из которых была у крыльца первого же домика. Из окна этого домика на нас молчаливо поглядывал его жилец; постепенно мы стали привыкать друг к другу, раскланиваться, и однажды он приветствовал нас уже из кресла на крылечке.

Кресло было инвалидное, а наш новый знакомый — без ног.

Мы разговорились, и я был поражен уверенной веселостью его голоса, правда, неожиданно высокого, почти бабьего. Я подумал, что к общению с нами, долго откладывавшемуся, его, наверное, расположила папина ограниченная мобильность, постоянным свидетелем которой он невольно являлся. Возможно, он видел в папе собрата-инвалида.

Не в первый день, конечно, но своим чередом речь зашла и о его увечье. Оно оказалось результатом десантных учений; что это были за войска или военная школа, я, увы, не запомнил. Но, по-видимому, именно школа или даже институт, потому что в его рассказе вдруг промелькнуло имя Л. Н. Бонапарта, о котором он говорил с почтением — как о профессоре, но чего — истории? военного дела? авиастроения? — опять-таки не помню. (Надо было тогда же все записать, и мне порой кажется, что где-то я это сделал, но где? В печать явно не отдал — в Сети не вижу.)

Возраста наш сосед был примерно моего, при общении с нами оживлялся и казался полным сил; но на следующее лето он к нам не вышел. Спрашивать о нем было некого, и мы не стали. А в 2000-м умер папа. Я продолжаю летом ездить в Москву, живу в завещанной мне квартире, но ограда перед домиком теперь на электронном замке, в будке — охранник, и этот квази-дачный участок столь же недоступен, как некогда дача Бонапарта⁸. Начиная с 52-го, мы стали снимать на станции Челюскинская по Ярославской дороге. В первый раз — очень близко к станции, на улице, параллельной полотну, и всего лишь в одном квартале от него. Большая дача с большим участком принадлежала дочери видного польского большевика Юлиана Мархлевского (1866 — 1925) — Софье (Зосе) Мархлевской. Вообще, это был поселок Старых Большевиков, и главная улица, ведущая от станции к лесу, называлась Проспект Старых Большевиков. Дача Мархлевской располагалась на улице имени другого великого коммуниста, но не польского, а болгарского, Василя Коларова (1877 — 1950).

На даче через улицу от нас жила девочка моего возраста, Мариша, очень высокая, с на редкость белой кожей и ясным румяным лицом, не слезавшая с велосипеда. Помню ее всегда в седле, едущую или остановившуюся поговорить, ее длинные белые ноги на педалях, цветную сетку на заднем колесе дамского велосипеда. Подруг у нее не было, мы стали кататься вместе, и я очень старался вообразить, что это не дружба, а нечто большее, — никак, однако, ни с моей, ни с ее стороны не проявлявшееся. Однажды, правда, я подарил ей ветку сирени, добавив, что это «вещественный знак невестственных отношений». Мариша была отличницей, школьную цитату легко

⁸ Ознакомившись с этой виньеткой, моя добрая знакомая Вера Мильчина сообщила мне, со слов своей знакомой, Ирины Палей, потомственной кратовчанки, что хозяином дачи № 52 по ул. Горького был Лев Николаевич (!) Бонапарт (1901 — 1975), инженер-строитель (без высшего инженерного образования), председатель (императорская жилка!) кратовского ДСК «Инженер». Он происходил из Калуги и был женат на дочери тамошнего купца Билибина, владельца, среди прочего, велосипедной фабрики, куда за велосипедами приходил К. Э. Циолковский, преподававший математику ученицам Калужского епархиального женского училища (в частности будущей мадам Бонапарт). Предки Бонапарта были из крепостных, и фамилию один из них вроде бы получил за внешнее сходство с Луи-Наполеоном (о, как я все угадал!). Жена Л. Н. Бонапарта, Антонина Васильевна, прожила почти сто девять лет (1903 — 2012) и до восьмидесяти семи разъезжала по Кратову на велосипеде (я тоже пока держусь). Любимый брат Льва Николаевича, Владимир Николаевич, жил в Москве и очень дружил со своим соседом по коммунальной квартире — Кутузовым.



Дача Бонапарта.

Фото И. В. Палей, специально для этой виньетки (2020).

опознала, но природы наших отношений это нисколько не изменило.

Между тем шла корейская война, и мы с моим дачным приятелем Сашей Пескиным (сыном папиной коллеги по Институту военных дирижеров) издевательски скандировали фразу из газеты «Правда» о том, что американский «капрал Боб Симпсон из города Принстона штата Кентукки сказал, что он украл пятнадцать поросят». Было ли это в том же 52-м или уже в 53-м, накануне окончания войны, я не помню. Помню, что я страстно болел за «наших» — против моих теперешних соотечественников. И виртуозно аллитерированные строки о капрале Симпсоне повторял без тени эзоповского надрыва — как приговор американской военщине, убийственный, но и шикарный, требующий бесконечного смакования... Вот она, сила искусства! Какой-то неведомый гений, чудом устроившийся в «Правду» акробатом пера, отчеканил этот двусмысленный мем, и я уже вторично не смог удержаться, чтобы не процитировать его⁹.

В дачной жизни 53-го года я Мариши не помню, хотя снимали мы опять в Челюскинской. В то лето, первое после смерти Сталина, папа подружился — через Е. Л. Фейнберга (мужа В. Дж. Конен, папиной коллеги, а в свое время ученицы) — с группой знаменитых физиков; помню В. Л. Гинзбурга, Я. З. Беленького и И. Л. Фабелинского. Вечерами компания прогуливалась по улице Коларова, шумно обсуждая теорию относительности и другие дотоле полужапретные интеллектуальные темы.

Но в 53-м мы снимали дальше от станции, где-то в середине проспекта Старых Большевиков. А у Мархлевской поселились Беленькие, и физики приезжали в гости к ним, мы же с папой специально приходили на эти прогулки со своей дачи. В пользу такой дислокации говорит и появление первой в моей жизни серьезной влюбленности — в соседку по этой новой даче Нину Дробышевскую.



Мама и папа едят арбуз на веранде дачи в Челюскинской.

Роман возник летом,

⁹ См. «Уроки нон-фикшн».

продолжился в Москве, дожид до следующего лета¹⁰, но не пережил моего поступления в университет в 54-м, смерти мамы и полной смены парадигмы — со школьной на студенческую.

Роман был совершенно невинный. Сохранилась пара снимков моей работы, сделанных (как и предыдущий, с мамой и папой) фотоаппаратом «Любитель». На одном трещина в фотопластинке перечеркнула Нинино лицо, на другом на брудершафт пьют двое: лицом к аппарату Нина, спиной — моя будущая первая жена Ира.



ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

Кратилическая виньетка

Когда, в каком году мы познакомились, не помню. Я бы сказал, в начале шестидесятых. Зато где, знаю определенно, — в библиотеке. Вот только не уверен, в Ленинке или в Горьковке — университетской библиотеке на Моховой. Все-таки, думаю, в Ленинке, куда я ходил за немногочисленными в те времена сомалийскими текстами. Так что знакомство было вполне интеллигентное, — интеллигентным оно и осталось.

И прекрасно помню, как ее звали. Бывает, что имена своих давних знакомцев я начисто забываю, а бывает, напротив, — помню, но в тексте вынужден по тем или иным соображениям заменять, и вдруг обнаруживается, сколь нерасторжимо имя срослось со своим носителем и как трудно подобрать другое. Ну, здесь, к счастью, ничего такого не потребует, и говорящее имя будет предъявлено во всей его незабываемой подлинности.

Я тогда постепенно расходил с женой, был практически холост, свободен — и очень невинен. Знакомство состоялось на почве общей причастности к итальянскому языку. Сомалийские тексты я выуживал из монографии итальянского сомаловеда Мартино Марио Морено (Мандельштама порадовала бы эта хорошо аллитерированная триада) и обратил внимание на молодую читательницу, тоже выписывавшую итальянские книги.

Она была мила — и внушительна. Высокая, не ниже меня ростом, полноватая брюнетка с атласной белой кожей и правильными чертами лица, как бы не опускавшимися до миловидности, со спокойной улыбкой. Ее фи-

¹⁰ См. рассказ «В сторону Пруста».

гура могла бы показаться колонноподобной, если бы не скрадывавшие это изгибы — наклон шеи в одну сторону, а верхней части корпуса в обратную, чем подчеркивалось наличие талии, не тонкой, но несомненной. Одевалась она скорее строго, во что-то темное, но изящное и ей шедшее; держалась с вальяжной приветливостью.

Мы разговорились, обменялись телефонами, кажется, я даже побывал у нее дома и познакомился с родителями. Все это — в высшей пробы интеллигентном ключе. Она, повторяю, охотно улыбалась, была очень приветлива и явно, хотя и несколько снисходительно, расположена принять мои ухаживания, но покуситься на ее пусть не мраморную, а алебастровую и, судя по всему, гостеприимную прелесть мне не приходило в голову.

Имя у нее оказалось редкое — и на редкость ей подходившее: Нонна. Чем подходившее?

Ну, во-первых, своей итальянскостью.

Во-вторых, своим исходным значением — «бабушка», «монахиня». Конечно, ни старухой, ни монашкой она не выглядела, но какая-то неприступная зрелость в ней была — при всей доброжелательности манеры.

В-третьих, некоторой декадентской экзотичностью этого имени на обыденном российском фоне. (Сразу вспоминается единственная широко известная тогда российская Нонна — здоровенная и ничуть не упадочная Нонна Мордюкова, но, как выясняется, это было ее сценическое имя, а при рождении она была наречена Ноябриной.)

И, наконец, в-четвертых (хотя это, возможно, мои смешные филологические фантазии), — тем легким фонетическим покачиванием (от первого слога, *НО*, ко второму, с двойным «эн» — *ННА*, и все на гласных и сонантах), которое так органично вторило изгибам-покачиваниям ее статуарной, но по-своему гибкой фигуры.

Я спросил ее, чем таким итальянским она занимается, и оказалось, философией, точнее — марксизмом, еще точнее — основателем его итальянской ветви, с на удивление немужественной фамилией Лабриола (*ЛА...ЛА*). Меня это не особенно заинтересовало, но и не оттолкнуло: марксизм, так марксизм, Нонну я пытался любить не за это. (Сейчас заглянул в Википедию: ну и ну, в Италии было целых два Лабриолы, Антонио и Артуро, не родственники, но оба марксисты; Нонниным был, я думаю, Антонио.)

Наши встречи в библиотеке и прогулки по улицам продолжались некоторое время, но в сторону от филологии-философии почти не уклонялись. Правда, однажды я зашел так далеко, что позвал ее в Парк Культуры им. Горького (ага, значит, это было летом). Она явилась, на этот раз во всем белом, и мы даже покатались на лодке по тамошнему пруду (был такой аттракцион). На этом дело, в общем, и кончилось.

Вспоминаю ее редко, но всегда с приятным чувством. Как сложилась ее жизнь дальше, понятия не имею — могу только гадать. Погуглив Лабриолу в Сети, никакой Нонны в связи с ним не нахожу. На моем горизонте она промелькнула вскользь и, как говорится, исчезла на том берегу. Не исключая, что вышла замуж за итальянца и живет на родине бывшего объекта своих исследований.

Дело в том, что судьба русских женщин с готовыми итальянскими именами нередко складывалась именно так. Моя сокурсница Августа (Ася) Докукина вышла за итальянца Гуильельмо Бёбеля (*Vöbel*) и стала Августой Бёбель (на свадьбу я сочинил ей поздравительный стишок: *Тот брак свершился не на небе ль? / Теперь она — Августа Бёбель!*). Комсомольская богиня филфака пятидесятых Клара Юнович вышла за Витторио Страда и стала Кларой Страда. А Элеонора Яблочкина вышла за Тонино Гуэрра и стала Лорой Гуэрра. Язык до Киева доведет.

ПОЭТИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА ЛИНДОНА ДЖОНСОНА

Известно определение поэзии, принадлежащее Роберту Фросту: poetry — это то, что пропадает в переводе, is lost in translation.

Известен также оскорбительный отзыв Линдона Джонсона о Джеральде Форде. Согласно одной печатной версии, он сказал, что тот так туп, dumb, что неспособен одновременно ходить и говорить, walk and talk at the same time, согласно другой, — одновременно ходить и жевать резинку, walk and chew gum.

Джонсон рисует Форда карикатурной противоположностью хрестоматийно великого политика — Юлия Цезаря, умевшего делать одновременно семь дел: читать, писать, слушать и диктовать четыре разных письма... Форду же оказывается не по силам совмещение всего двух простейших функций.

И правда, что может быть проще ходьбы и жевания, элементарных способностей человека, да и животного, а в случае жевания резинки — занятия, присущего провербиальному янки? И что трудного в совмещении двух операций, в которых задействуются разные органы, никак не мешающие один другому?!

Что касается говорения, то это занятие немного более честолюбивое, чем жевание, но тоже достаточно элементарное и от ходьбы автономное. И охотно с ходьбой совмещающееся в готовых англоязычных формулах — благодаря счастливому созвучию соответствующих слов. Ср.: walkie-talkie, портативный рупор, передатчик; You need not only to talk the talk but also walk the walk, Надо не только [уметь] говорить, как они, но и ходить [т. е. действовать], как они; и т. д. Так что эта версия, с walk and talk, еще и убедительно — идиоматично — зарифмована.

Все хорошо, но это не то, что на самом деле отчеканил Джонсон. Я привел два варианта перевода его реальных слов на язык официальной прессы. Выразился же он гораздо сильнее, а именно, что Форд так туп, что не умеет одновременно ходить и пукать — walk and fart at the same time. Естественный вопрос: насколько адекватны эти «переводы»?

Ну, разумеется, в них пропадает сама энергетика непристойности, как словесной, так и физиологической. Зато заостряется, в варианте с talk, интеллектуальная издевка и, в обоих вариантах, — общая карикатурность: в оригинале перед Фордом ставится гораздо более сложная задача, не справиться с которой менее позорно, в переводе же он выглядит беспомощным дальше некуда. Неужели перед нами тот редкий случай, когда перевод(ы) лучше оригинала?

Увы, нет. Чисто риторически карикатурность повышается, но утрачивается реалистическая, житейская, человеческая, слишком человеческая подлинность изображаемого. И дело не просто в отказе от обценного упора на материально-телесный низ, а в удручающем обеднении художественной структуры. Присмотримся к оригиналу.

Прежде всего, фартинг совершается в той же точке тела, откуда растут ноги, так что совмещение двух действий оказывается идеально плотным. Отсюда — повышенная трудность контроля, но отсюда же и абсолютная органичность образа, пульсирующего в горячей точке конструкции, своего рода locus atoenus. Не забудем, что совмещение — один из важнейших приемов художественной выразительности.

Далее, в отличие от речеведения и жевания жвачки, фартинг — деятельность сугубо непубличная, подлежащая сокрытию, тайная, интимная. Отсюда опять-таки повышенная трудность ее эффективного исполнения, но отсюда же доставляемое ею, в случае успеха, чувство глубокого внутреннего удовлетворения и торжества над враждебным окружением.

Наконец, такое совмещение не просто трудно, но и рискованно, причем не только по линии возможного внешнего, в частности, звукового, конфуза, но и по более серьезной внутренней линии — опасности не удер-

жаться в сугубо газообразных рамках собственно фартинга. Отсюда как дополнительная высота планки, так и прибавочная ценность мастерского ее преодоления.

В общем, Джонсон знал, что говорил. Это была настоящая поэзия, пропадающая в переводе.

Джонсон и Форд оба побывали вице-президентами, а там и президентами США, но были очень разными людьми. Джонсон (1908 — 1973), демократ, был вице-президентом при Кеннеди, после убийства которого стал президентом (1963), по окончании их общего срока самостоятельно победил на очередных выборах (1964) и правил еще четыре года, а на второй собственный срок (в 1968-м) не пошел, понимая, что проигрывает. А Форд (1913 — 2006), республиканец, на эти высокие посты вообще не избирался. Он был назначен, по соответствующим правилам, вице-президентом при избранном на второй срок Никсоне вместо проворовавшегося Спино Агню (1973) и стал президентом после импичмента и отставки Никсона (1974), а собственные президентские выборы проиграл Джими Картеру (1976).

Различались они не только своей партийной принадлежностью, но и как личности. Форд был недалеким политиком, но порядочным и вроде бы милым человеком, джентльменом, — насколько это возможно в американской политической жизни. Джонсон же был существом в высшей степени земным — матерщинником, рукоусем, мастером закулисной интриги. И в своей эпиграмме на Форда он, мне кажется, постарался не только опустить его, но и, главное, отказать ему в сходстве с собой любимым.

В поэзии это явление известно как вписывание автором своего имиджа в любой продуцируемый текст: против инварианта не попрешь.

МИСТИФИКАСЬОН?

На заре своих занятий инфинитивной поэзией я не ограничивался русскими источниками, а рыскал повсюду, стараясь набрать побольше разнообразных примеров, чтобы понять, что за странный зверь мне попался — русское инфинитивное письмо. И конечно, вскоре обнаружилось, что происхождения оно, как водится, иностранного. Потом, уже работая над Антологией¹¹, я сосредоточился на отечественных образцах, иноязычные же приводил сугубо по делу — как оригиналы стихов, оказавшихся переводными.

А тогда мне среди прочего подвернулась — где-то, не помню, где, — подборка переводов Льва Гинзбурга из Гёте, а в ней — инфинитивное двенадцатистишие:

Медлить в деянье,
Ждать подаянья,
Хныкать по-бабьи
В робости рабьей,
Значит — вовеки
Не сбросить оков.

Жить вопреки им —
Властям и стихиям,
Не пресмыкаться,
С богами **смыкаться**,
Значит — **быть вольным**
Во веки веков!

¹¹ Русская инфинитивная поэзия XVIII — XX веков. Антология. Сост. А. К. Жолковский. М., «Новое литературное обозрение», 2020.

Целиком инфинитивное стихотворение, от начала до конца! Я вдохновился и полез за ссылкой на немецкий оригинал, но ее в книге не оказалось. Я стал искать это стихотворение в других русских собраниях Гёте, но не находил. Впрочем, искал не систематически, заглядывая, куда мог, и легко бросая поиски.

Германист я никакой, да и с источниковедением у меня дело швах. Так что оригинал оставался неизвестным; временами меня это тревожило, но не очень. Тем более что речь ведь шла не об оригинале русского инфинитивного стихотворения, а просто о еще одной типологической параллели.

Потом в какой-то момент мне все-таки пришло в голову, что искать надо не в русском Гёте, а в полном, немецкоязычном. Немецкий у меня — похвастаться нечем, но я кое-как сварганил обратный перевод хотя бы ключевых слов и стал искать по ним. В университетской библиотеке нашел словарь языка Гёте, перебирал тома немецких собраний, периодически приставал к коллеге с немецкой кафедры, немного лазил по интернету... Zero, zilch, Null.

Собственно, и метод-то довольно сомнительный. Вспоминается старый советский анекдот.

Поэт из одной из национальных республик выражает недовольство опубликованной русской версией его стихотворения:

На пороге стоит
Полумесяцем бровь.
Это в двери мои
Постучалась любовь.

Он говорит, что в этом тексте, может, быть, по-своему вполне поэтично, оригинал не узнается. У меня, говорит он, все сказано сильнее, — вот мой, более точный перевод:

Ф двэр мнэ кто-то пастучал,
Я иво сапсэм нэ ждал.
Это дэвушка пришел,
Он ибацца мнэ принес.

И еще один анекдот, немного ближе к нашей теме, — о том, как «Полтаву» сначала перевели на немецкий, а потом оттуда обратно на русский. Из

Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.

получилось:

Был Кот Шубей богат и горд,
Его поля обширны были,
И сотни тысяч конских морд
Его потребностям служили.

Велики ли шансы по этому обратному переводу найти пушкинский текст? Неудивительно, что мои попытки результатов не давали. Сколько процентов там было моей вины, сколько — Гинзбурга, я знать не мог и о гетевских инфинитивах на время опять забыл.

А потом вдруг снова вспомнил — и взглянул на дело свежим взглядом, под совершенно новым углом. А что, если, подумал я, подобного стихот-

ворения у Гёте нет и никогда не было? Недаром фигурирует оно в одном-единственном издании, без комментариев, а других версий нигде не обнаруживается.

Но если автор — не Гёте, тогда кто? Да любой другой немецкий поэт, текст которого по ошибке был принят переводчиком за гетевский.

Вообще говоря, такое бывает.

Гершензон принял стихотворение Жуковского «Лалла Рук», переписанное рукой Пушкина, за пушкинское — и опубликовал как новонайденный шедевр нашего гения № 1. Скандал был страшный; Гершензону пришлось вырывать грешную страницу.

Советский поэт Василий Журавлев напечатал под своим именем стихотворение Ахматовой «Перед весной бывают дни такие...», а по разоблачении униженно твердил, что вроде бы переписал его когда-то в свой блокнот, о чем потом начисто забыл.

Сходная неудача постигла Остапа Бендера, но он спохватился вовремя.

— Слушайте [, Адам], что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: *Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты.* Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?

Явление это, видимо, настолько распространенное, что случилось однажды и в моей жизни. Литературовед Виктор Есипов приписал несколько моих рассказов Василию Аксенову (найдя их машинописные варианты, посланные мной почитаемому мэтру, в его вашингтонском архиве) и чуть было не опубликовал их в качестве образцов позднего, особо зрелого аксеновского стиля, но я, к сожалению, вовремя остановил его¹².

Да что там, сам Пушкин принял стилизованные Проспером Мериме стихи (*La Guzla*) за подлинные и перевел 11 из них на русский — получились «Песни западных славян».

Впрочем, это уже другое дело. Гершензон просто позорно перепутал, Журавлев, думаю, тоже (хотя обидчику Ахматовой полагается не верить), а вот Пушкин, тот попался на мастерскую литературную мистификацию, — вещь, модную со времен Джеймса Макферсона, выдумавшего целого древнекельтского поэта Оссиана, песнями которого зачитывалась вся Европа. В XX веке успешной мистификацией стало изобретение Ходасевичем поэта XVIII в. Василия Травникова, на которого тоже многие купились.

Или вот такая мистификация, задним числом раскрытая самим мистификатором. В начале 1940-х годов он отбывал лагерный срок под Норильском в симпатичной литературской компании. И вот как-то раз они наперебой читают друг другу свои стихи, но творения рассказчика подвергаются суровой критике со стороны одного из слушателей. Тогда он пускается на трюк: в качестве своего новейшего опуса читает Пушкина, заменяя топонимы местными: *На склонах Шмидтихи лежит ночная мгла, Шумит Норилка предо мною...* Слушатель предсказуемо набрасывается на «автора» — за «отсутствие вкуса, сентиментальное слюнтяйство и беспомощные повторы». Свидетель этой сцены, з/к Лев Гумилев, катается по траве, восхищенно хохоча¹³.

¹² Об этой истории я писал; см.: Жолковский А. Быть знаменитым... — «Звезда», 2012, № 11, стр. 212 — 217.

¹³ См.: Снегов С. А. Дуэль. — В кн.: Живя в чужих словах. Воспоминания о Л. Н. Гумилеве. СПб., «Росток», 2006, стр. 115 — 116.

То были чисто литературные игры, но иногда вымысел преследовал более серьезные цели. Так, Владимир Лифшиц сочинил английского поэта Джемса Клиффорда, своего сверстника, и «перевел» два десятка его стихотворений, в которых (как потом объяснил раскрывший мистификацию сын поэта, Лев Лосев) с недоступной советскому поэту свободой выразил как раз те переживания, которые не находили адекватного выхода в его собственном подцензурном творчестве.

Не забудем, что поэтический перевод — предприятие само по себе, как бы это сказать, неоднозначное. И не только в тех случаях, когда переводчик, презирая буквализм, настаивает на вольной, творческой передаче оригинала. Некоторое неизбежное надувательство есть уже в том, что продукт усилий переводчика, часто скромных, печатается под обложкой с тиснеными огромными буквами именем знатного иностранца.

И я подумал, а что если Лев Гинзбург ничего не перепутал (да и не к лицу бы это профессиональному переводчику), а взял и написал за великого немца сам?! Тут кайф совсем особый. Ты не выдумываешь какого-то неведомого поэта, который никогда не существовал, а сам становишься — пусть на минутку, на 12 строк — одним из настоящих классиков. Причем ты не крадешь у него, а наоборот, даришь ему. Ты пишешь стихотворение Гете (предельный случай вольного перевода!), печатаешь его большим тиражом и наедине с собой наслаждаешься сознанием, что дар — хотя бы на русскоязычном пространстве — принят.

До тех пор, разумеется, пока не прихожу я, разгадавший твою игру!

С источниками у меня отношения, как было сказано, не очень, а вот с авторами — с, так сказать, первоисточниками — иной раз вполне ничего. И я редко отказываю себе в удовольствии спросить у знакомого поэта, читал ли он то-то и то-то и не оттуда ли позаимствовал то-то и то-то. Но к Гинзбургу идти с моими догадками было поздно: он к тому времени давно умер, скорее всего, не узнав о моем существовании (его перевод «Исповеди» Архипоэта Кельнского мы со Щегловым придиричиво обсуждали в статье, напечатанной в 1980-м — в год его смерти).

Увы!.. Зато жива была (и здравствует по сей день) его дочь, Ирина Львовна, поэтесса, мемуаристка, переводчица и — очень кстати — жена моего доброго знакомого, композитора Александра Журбина. Женщина, не лишенная того, что по-французски называется *rapache*, каковой, сообразил я, давал мне дополнительные шансы.

И вот, при очередной встрече за их гостеприимным столом, бегло набросав ситуацию с неведомым шедевром Гете, я пошел ва-банк и спросил Ирину, был ли отец с ней во всем откровенен, и если, как я надеюсь, был, то не рассказал ли он ей однажды под страшным секретом, какую шутку он отмочил с инфинитивным двенадцатистишием якобы Гете? Вот здорово было бы, продолжал я, если бы так и оказалось. Ему бы это славы не убавило, пожалуй, даже прибавило, а заодно немного хайпа перепало бы и нам, обнародовавшим, а ля Лосев, потрясающую сенсацию. Тем более, вдумайтесь, говорил я, о чем стихи? О деяниях, дерзости, вольности, жизни вопреки правилам, смычке с богами! Автор буквально проговаривается о том, что он себе позволяет.

Ирина выслушала мою речь без особого энтузиазма и сказала, что порадовать ей меня нечем. Тогда я стал добиваться хотя бы теоретического одобрения моей гипотезы — на том основании, что подобные экстравагантные фокусы были ведь, наверное, в характере ее отца, человека неординарного, творческого. А? Но она оставалась непреклонна, и я отступился.

А год-полтора назад, заканчивая работу над Антологией, я опять наткнулся на неатрибутированные инфинитивы и раз однажды вечерком написал о них по электронной почте в Германию, Михаилу Безродному. Миша и на этот раз не подвел — наутро меня ждал имейл с искомым текстом Гетё:

Feiger Gedanken
 Bängliches Schwanken,
 Weibisches Zagen,
 Ängstliches Klagen
 Wendet kein Elend,
 Macht dich nicht frei.
 Allen Gewalten
 Zum Trutz sich **erhalten**;
 Nimmer sich **beugen**,
 Kräftig sich **zeigen**,
 Rufet die Arme
 Der Götter herbei.

В буквальном переводе:

Трусливых мыслей / Робкое колебание, / Бабское уныние, / Боязливое сетование / Не отвращает никакой беды, / Не делает тебя свободным. //
*Всем властям / Вопреки **сохранить себя**, / Никогда **не сгибаться**, / Сильным **себя выказывать**, / [Вот что] Зовет руки / Богов сюда [= к нам на помощь].*

...Если что-то хоть немного меня извиняет, так это то, что гетевское стихотворение инфинитивно не целиком: инфинитивов в нем всего 3, и все они во втором шестистишии. А у Гинзбурга их восемь, по четыре в каждой строфе! Переводчик повысил инфинитивность текста до почти абсолютной (в других случаях у Гёте встречающейся), а свой ранг — до почти соавторского¹⁴. И без никакой мистификации.



¹⁴ У Гёте фокус в том, что лирический сюжет движется от неправильного, «слабого», поведения — к правильному, «сильному», и в грамматическом плане этому вторит переход от существительных, то есть «статики», — к глаголам, «динамике». Контраст оттеняется сходствами: две строфы построены по общей синтаксической колодке («то-то, то-то и то-то [не] приводит к тому-то») плюс в немецком языке отглагольные существительные (*Zagen, Klagen*) морфологически похожи на инфинитивы (*erhalten, beugen, zeigen*): и те, и другие оканчиваются на *-en*. Но и в своей «сильной», инфинитивной части дискурс остается сдержанным: все три инфинитива — возвратные (с *sich*) и описывают не «активные действия», а «стойкие состояния». В переводе повышен глагольный тонус всего текста, но — ценой стилистической и композиционной рельефности.